Alexander Ginzburg, interview with Philip Boobbyer, Paris, March 1997.
Transcript in Russian and summary in English.

А: Значит, я сказал Вам про Солженицына, который не любит, чтобы его называли диссидентом. И начал приводить пример с Московской Хельсинкской группой, в которой только два человека подумали. На эту тему подумали прежде, чем стать членами Московской Хельсинкской группы. Это были Мальва Ланда и это был генерал Петр Григоренко.

А: [Ланда] одна из основателей Московской Хельсинкской группы. Она родилась тогда же, когда Солженицын, в 1918 году. Когда она вступала в Хельсинкскую группу, она уже была на пенсии.

И прежде, чем вступить в Хельсинкскую группу, она написала нам письмо, в котором было сказано: “Я знаю, что вот эти документы, Хельсинкские, на которые мы собираемся опираться, никакой роли не сыграют. Но я думаю, что они дадут нам возможность какое-то время говорить правду. И поэтому я решила в группу вступить. Потому что другой возможности громко говорить правду я просто не вижу.”

Примерно такое же было письмо генерала Григоренко. Все остальные просто об этом не думали. Ну, хорошо, вот мы, мы будем этим заниматься. Примерно так же, как мы занимались этим до хельсинкских событий. Мы будем писать, мы будем распространять. А думать о том, как это подействует- мы не будем.

А вот эти два человека подумали. Причем Московская Хельсинкская группа была одной из самых сознательных, понимающих на каком свете находятся группы.

Все остальные это были скорее не группы, а такие дружеские инициативы. И в них были свои достоинства. Это были, как правило, хорошие люди. И они, как правило, друг друга не подводили. Об этом можно судить по тому, как они вели себя, когда их арестовывали, судили, сажали в тюрьму и так далее. Вот за все время существования диссидентского движения, а это по крайне мере лет двадцать пять, очень мало случаев, когда люди ломались. То есть легче перечислить людей, которые сломались, скажем как Петр Якир, Виктор Красен, чем те, которые не сломались. Хотя до этого, до появления этого движения, даже трудно было себе представить, чтобы люди на следствие или на суде вели себя достойно. Так что это как-то естественно сложилось. Но сложиться- то оно сложилось, но не было сформулировано.

Ф: Мой язык недостаточно хорош, чтобы видеть разницу.

А: Понимаете, так получалось. Но формулировки, почему так должно получаться у них не было. Первым дал такую формулировку Солженицын.

Ф: А, понятно.

А: Потом была вот эта самая Московская Хельсинкская группа.

До этого были две очень любопытных брошюры. Автор одной из них, человек удивительный, Александр Сергеевич Есенин-Вольпин.

Ф: Я знаю о нем.

А: Сын поэта Сергея Есенина. И человек, который прошел тюрьмы, прошел сумасшедшие дома, там много чего. Он рассказывал и писал в своей брошюре, о том как надо себя вести, когда тебя арестовали.

Ф: Есть тоже одна, Альбрехта, да?

А: Вот я и говорю. Вторая- это книга Альбрехта.

Ф: У меня она есть, вот эта книга.

А: Вот..

Ф: Ну у Есенина было когда- то опубликовано в Самиздате?

А: Да, опубликовано в Самиздате и не только в Самиздате.

Ф: Как называется? Тоже так “Как вести себя, когда тебя арестовали”?

А: Почти так. Почти так. Я могу Вам даже послать ксерокопии.

Ф: Спасибо.

А: Она у меня есть. Но у них был подход не с точки зрения совести, а с точки зрения права.

Ф: Да, я смотрел альбрехтскую книгу. И тоже имел такое (мнение). Есть моменты, которые он советует, возможно ли врать или не врать. Но вообще он не трогает вот это (эту тему)..

А: Это не его проблемы.

Ф: И у Вольпина тоже самое. Они как бы строили правовое государство.

А: Да. Это интересно.

Ф: Это очень интересно. Но до морального они просто не доходили. Это как бы был следующий шаг.

Ф: Что следующий шаг? Не понял?

А: Строение другого общества, общества с другой моралью- это был следующий диссидентский шаг. Шаг, в котором участвовали писатель Солженицын, и вот такие диссиденты, как Мальва Ланда и Петр Григоренко.

Знаете я, мне кажется, что я вел себя, когда меня арестовывали, я вел себя правильно. Но я был человеком вне всякой теории. Это случалось как-то само собой.

Ф: Понятно. Вы говорите, Вас арестовали, и это было много раз.

А: Меня арестовывали три раза.

Ф: В шестидесятом году?

А: В шестидесятом, шестьдесят пятом и семьдесят седьмом. Понимаете? И все три раза я на эту тему не думал. И все было нормально, я никого не предавал. Все было как бы правильно. Но я совсем не теоретик.

Ф: Вы как бы говорите, что это риторика, о теме совести.

А: Почему же? Это не риторика. Это существенно.

Ф: Нет, нет. Я имею ввиду вот этот дискурс.

А: Это теория.

Ф: Этот разговор, это только было у

…

Ф: Что этот разговор только был одной частью так называемой диссидентской интеллигенции. Что много людей, которые участвовали в этом (этих кругах), им мало была интересна эта тема.

А: Вы знаете, давайте говорить всерьез. В стране, где было больше двухсот миллионов человек, диссидентов было несколько сотен. Их было вообще мало. Но это был, как правило, круг, который друг друга не предавал. То есть это был круг, у которого было внутреннее ощущение совести, которое никогда не декларировалось. Но это был очень маленький круг.

Ф: Я сам делаю… я уже сделал, скажем сорок - пятьдесят интервью с людьми. И разные из них, крупные, известные диссиденты, Буковски Лариса. Большинство с не диссидентскими людьми. Но ясно точно, что почти все беспокоились об этой проблеме.

А: Конечно.

Ф: Это очень болело людям. Не только тем тремстам, которые участвовали в этих движениях. У всех образованных людей, серьезно образованных, были попытки “держать свою совесть”. Каким-то образом. Даже пойти на компромисс каким-то образом.

А: Да, да. Вот я тех, кто это делал, ну того же Буковского, у него не было никогда попытки компромисса. Я не помню, чтобы у меня были попытки компромисса. И наверное, в этом и есть, какая-то разница.

Ф: Есть безусловно. Большая разница.

А: Понимаете, я не думаю, что это какое-то наше достоинство. Я думаю, что это, в какой-то мере, наша такая физиологическая особенность.

Ф: Генетика.

А: Да. Понимаете. Потому что это зависит от того, в какой семье или в какой среде ты вырос. Какие ценности были в этой среде. А дальше это все уже зависит не от тебя. Дальше у тебя уже нет выбора. Ты хочешь или не хочешь, а поступаешь так, как поступал Буковски.

Ф: Да, безусловно. Я тоже заключил, что много зависело от семьи.

А: Конечно. У меня меньше, например, меньше от семьи. Потому что я вырос во время войны, Второй мировой, и сразу после войны. И у меня была только мать, которая работала минимум 12 часов в день. И я ее очень мало видел. Но. Я вырос в таком районе, где, с одной стороны был, в Москве, так называемый…Я вырос рядом с Третьяковской галереей. Если Вы знаете эти районы московские. Там с одной стороны..

Ф: Третьяковская и Новокузнецкая.

А: Да. Там с одной стороны, так называемый, Дом писателей, который прямо смотрит на Третьяковскую галерею. С другой стороны - это то, что писатель Трифонов называл, Дом на Набережной, а мы знали, как Дом Правительства. И вот в нашем классе я не имел отношения ни к тому, ни к другому. Но. В нашем классе учился, с одной стороны, сын Микояна, из Дома Правительства, а с другой стороны, сын Пастернака и сын поэта Семена Кирсанова.

Ф: В вашей школе?

А: В моем классе.

Ф: Замечательно.

А: А с третьей стороны, Миша Артов, который сейчас… Он сын тоже, так сказать, довольно известного писателя. Сейчас он священник православный.

И вот это, начиная с первого класса, была моя среда. Я в этом не виноват, так сложилось. Понимаете?

Потому что вырастя так, что ты раз в два, в три дня видел Пастернака. Это особый случай. А я видел Пастернака с того времени, когда мне было семь лет. Понимаете?

У меня была там замечательная бабушка, которая в тринадцать лет, мои тринадцать лет, она вернулась из ссылки и тут же крестила меня в церкви. Это все была как бы естественная жизнь. И поэтому всяких моральных проблем, проблем с совестью, у меня просто не было. То есть, на самом деле, они были, потому что каждый человек делает ошибки. И я их делал. Но это было в общем, где-то на периферии.

Ф: Это не была центральная тема.

А: Нет, нет, нет. Вот это моя личная (история), мой личный опыт.

Ф: Я хочу вернуться к этой теме завтра. Может быть, потому что это важно.

А: Бога ради. Подумайте об этом. Я Вам могу потом рассказать еще о каких-то людях, которые вот так вот выросли, для которых это все не было проблемой.

Ф: Да. Хорошо.

А: Ладно.

Ф: До завтра.

А: До завтра. Ответил?

Ф: Так много вопросов, что лучше не начинать.

А: Бога ради, Бога ради.

Ф: После вчера у Вас были какие-то яркие идеи о чем бы Вы хотели поговорить.

А: Нет. Я вообще никогда в жизни не хочу давать интервью (смеется). Никаких ярких идей у меня никогда не было. Нет. Я готов отвечать на все Ваши вопросы.

Ф: Хорошо. Если мы вернемся, если возможно, к этому моменту о Хельсинской группе. Вы говорили об этих двух людях (Мальва Ланда и Петр Григоренко). Я не точно понял суть того, что Вы хотели сказать. Вы имели ввиду, что то, как они вдвоем открыто говорили об этих вещах и другие совсем не думали об этих вещах.

А: Нет. Мы говорили о совести. Совесть- это такая совершенно особая вещь. И я когда вступал в Хельсинкскую группу, я думал совсем не о совести, а они думали о совести. А я думал о том, сколько у меня будет места и сколько у меня будет времени, о том чтобы писать то, что мне хочется писать, как нормальному журналисту. К совести это не имеет ни малейшего отношения. А Ланда и Григоренко думали о совести.

Я думаю, что, нас было всего одиннадцать человек, и девять из них о совести не думали.

Ф: Они , Вы бы тоже могли сказать, что они не действовали по совести.

А: Нет, они действовали по совести. Но это не входило в сферу обсуждения.

Ф: Я понимаю, понимаю. Но это значит, какая совесть они действовали.

А: Давайте смотреть, это был 1976 год, когда основалась Московская Хельсинкская группа. Я работаю в журналистике с 1956 год. То есть я к этому времени двадцать лет уже был журналистом. Это не у всех было так, я там был в журналистике самый старый, так сказать. Но и все остальные, в общем, в такой диссидентской журналистике тоже участвовали. И вдруг перед нами открываются новые большие возможности. И мы хотим в этом участвовать.

Ф: Конечно, безусловно.

А: Вот и все.

Ф: То, что важно связано с совестью, это не это. Это…

А: Но подождите, мы до этого тоже работали во всем, что связано с совестью. Другое дело, что мы это все ни для себя, ни для других не формулировали, не определяли. Для меня все, что я пишу связано с совестью, диссидентское это, или спортивное, или про балет.

Ф: Но Вы, наверное, как журналист хотели писать честные слова.

А: Я всегда этого хотел. Не только,я и говорю, я и объясняю, я всегда этого хотел. Не только когда это было связано с политикой. Но когда я писал про балет, или когда я писал про спорт, я всегда старался этому следовал. Я старался не врать. Вот это и есть журналистская совесть.

Ф: Но во время Вашей журналистской жизни эта попытка не врать это была довольно сильная вещь?

А: Нет….нет…

Ф: Это было естественно?

А: Это было естественно. Это не было, во всяком случае, побуждающим мотивом. Понимаете, я Вам скажу, как я стал журналистом. Я вообще был актер и режиссер в театре.

Ф: В Москве?

А: В театре, нет, не в Москве, в Новосибирске. Я снимался немного в кино. И вдруг. Я прочитал в газете, в советской, такую забавную историю.

В Бразилии португальские диссиденты эмигранты захватили португальский лайнер, большой португальский корабль, который назывался “Санта-Мария”. И вышли на нем в Атлантический океан. Тогда это был один из самых первых случаев такого захвата. И, естественно, когда корабль ушел в океан, никто об этом ничего не знал. И тогда два журналиста, француз из “Париматч” и американец из журнала “Лайф”, наняли самолет. И в открытом океане с парашютами спрыгнули на этот лайнер.

И вот тогда я понял, что быть журналистом это очень хорошо.

Ф: (смеется) Да, да, да.

А: (смеется) Понимаете, я не знаю, здесь нет ситуации совести.

Ф: Я понимаю. Да, да.

А: (смеется). Это ситуация интереса к профессии.

Ф: Но бывают для всех из нас. Я, когда я прошел по своей жизни, я наверное не по совести. Но бывают вот эти моменты, когда нужно выбрать вот эту линию. И потом совесть довольно важная. И эта совести формировалась откуда-то.

А: Конечно. А об этом я вчера Вам сказал. Я Вам вчера сказал. Эта совесть формируется из той среды, в которой Вы выросли. Понимаете, если бы это был не Пастернак, если бы это была не моя мама.

Ф: Пастернак был важен для Вас.

А: Очень. Если бы это был не другой поэт Арсений Тарковский, которого я хорошо (знал). Это отец кинорежиссера Андрея Тарковского. У нас не случайно здесь портрет Андрея висит. Это было бы наверное по другому.

Ф: Вы можете определить то, в Пастернаке, что было особенно влиятельно?

А: Первая реакция. Вот он что-то слышит, он узнает о каком-то событии, и первая его реакция- глубоко моральна, глубоко связана с совестью. Первое, что он об этом говорит. Он может потом думать, что это принесет ему вред. И может быть, потом он может размышлять о том, а надо так поступать, или не надо так поступать. Но вот первая его реакция - это реакция совести. И вот это то, что было для меня очень важно. Понимаете, между нами была огромная разница в возрасте. И я никогда не был при его вторых, третьих, четвертых глубоких размышлениях. Я видел только как он реагировал сразу.

Я не знаю. У меня нет полной уверенности, что в конце концов все было так на самом деле. Но то, что я видел, это было очень сильно.

Ф: Когда Вы его впервые читали?

А: Ну я сначала его слушал, а потом читал. Я его знаю с моих семи лет. Я тогда не мог читать Пастернака. Где-то лет в двенадцать я начал его читать. Я далеко не все понимал. Но потом, уже когда мне было шестнадцать, и я уже прочитал его не только стихи, но и прозу, я понял, что это человек, который для меня много значит.

Ф: Вы можете чуть подробнее рассказать о семье что-нибудь? О маме?

А: А никакой семьи кроме мамы не было.

Мой отец был очень интересный русский архитектор. Но при этом он, с одной стороны учился у Корбюзье. И после этой учебы он строил модернистские дома в Москве. Например, дома Министерства сельского хозяйства. Это дом, в котором не было ни одной лестницы. Там были пандусы, по которым можно было к любой комнате подъехать на машине. С другой стороны, когда советское правительство решило разрушить Храм Христа Спасителя, церковь в Москве, то он взялся сделать все планы, все чертежи, все зарисовки, чтобы ее потом можно было восстановить. Видите, он был человек разнообразный. С одной стороны- модерн, с другой- церковь.

Его арестовали. Сейчас я объясню в чем дело. Когда он кончил учится у Корбюзье. Не только он, там было человек десять. Они вернулись в Москву, начали строить и начали издавать журнал “Современная архитектура”, очень интересный журнал. И в конце 1936г. всю редакцию журнала арестовали. Я в это время еще не родился, я родился через два месяца после этого. А через два месяца после моего рождения, он погиб в тюрьме КГБ на Лубянке, еще до суда, то есть под пытками. Ф: Это было в каком месяце?

А: Это было в Москве в начале 1937 года. Поэтому я отца не знаю, я его не видел никогда. У нас сохранились две фотографии.Меня вырастила мама, сначала. А она была из такой московской интеллигентной еврейской семьи, экономист по образованию. И вот пока она жива, всю жизнь была со мной.

У меня еще была бабушка, мама отца. Очень интересный человек. Дворянка, по рождению баронесса фон Гагман, которая вышла замуж за купца. Ну это был формально купец, он был в то же время ученый, археолог, секретарь Русского Нумизматического Общества, тоже человек очень интересный. Она его потеряла в 1918 году, в годы революции. Один ее сын, еще до того, как был арестован мой отец, старший сын, был арестован и сослан в Казахстан. И она поехала туда к нему. И она вернулась, когда мне было тринадцать лет, то есть это был 1949 год. Она крестила меня в русской православной церкви. Она долго, почти год, меня к этому готовила.

Ф: Бабушка?

А: Бабушка.

Ф: В Москве?

А: В Москве. Я вырос в Москве полностью.

Ф: Так это влияние матери и бабушки было сильным.

А: Но скажем, у нас в доме, начиная с 1949 года, когда стало возможно. Не разрешено, но возможно. Слушали западное радио. И поэтому очень многие ситуации я знал, хотя мне было тринадцать, четырнадцать, пятнадцать лет. И это все было, как бы нормально, в доме.

Ф: Это было нормально и в других домах? Или?

А: По разному, по разному. Но дело в том, что никто из моих родных никогда не был коммунистом.

Ф: И смерть отца и все подробности…

А: Откуда я знаю? Нет, про смерть отца я узнал очень поздно. Потому что ни мама, ни бабушка не считали, что они должны мне это говорить.

Ф: И когда Вы это узнали?

А: Я узнал об этом в 1956 год, когда была его реабилитация.

Ф: И это влияло на Вас? Эти новости влияли на Вас? Или Вы уже это ожидали?

А: Вы знаете, не так, понимаете не так. Потому что я до этого. Его реабилитировали не первым. А я уже до этого узнал о многих других реабилитациях. И это для меня было гораздо более существенно.

Ф: И потом начался Ваш интерес к журналистике. Но театр был первым?

А: Ну театр. Я уехал. Вообще, в русской школе в это время было десять классов. Я уехал из девятого класса. Бросил школу, и поехал в Новосибирск, в Сибирь. Играть в Театре юных зрителей. То есть в театре для детей.

Ф: ТЮЗ.

А: ТЮЗ. Совершенно верно. Вот я там и играл. Сначала зайчиков, потом еще чего-то. Вобщем много. Это был конец 52 года(1952г). Потом я оттуда вернулся, сдал экстерном экзамены за школу, поступил сначала в театральное училище. А потом уже через год на факультет журналистики.

Ф: Вы сказали вчера, что даже диссидент не очень хорошее (правильное) слово.

А: Диссидент- это слово ироническое.

Ф: Но Вы в начале имели антисоветские взгляды в эти годы? Или это просто случайно попали в такие круги?

А: Нет, нет, нет. Дело в том, что у меня никаких советских взглядов не было никогда. И это мое счастье. Понимаете, потому что мне не говорили о смерти отца, но, тем не менее, в доме всегда ощущалось, что мать или бабушка, они не принимают этой системы.

Ф: Это очень сильно ощущалось?

А: Это ощущалось.

Ф: Но потом конкретно, может быть, после речи Хрущева?

А: Вы знаете, для меня речь Хрущева не была ни чем. Абсолютно. Я к этому времени уже знал гораздо больше. Поэтому для меня…Я к Хрущеву всегда относился скорее иронически.

Ф: Для разных людей этой системы, было проблема нравственной дилеммы: выбрать карьеру, вступить в партию или голосовать за это? У Вас были?

А: Вы знаете, нет.

Ф: Никогда не было?

А: Нет, никогда не было. Дело в том, что мне всегда везло. Потому что, я умел прийти в газету, которая мне нравилась, принести туда статью о чем-то что мне было интересно.

И эта статья всегда проходила. Мне не надо было для того, чтобы работать в газете становиться членом партии. Меня брали не за это.

Другое дело, что я никогда бы не мог стать начальником в газете. Это у меня до сих пор так. Я не могу. Я умею писать, но все остальное не моя проблема. И поэтому проблемы стать членом партии или не стать сленом партии- у меня не было.Ф: Но…если?

А: Понимаете, у нас в журналистике понятие карьера очень странное понятие. То ли тебя читают, то ли тебя не читают. То ли тебя печатают на первой странице, то ли не печатают. Но зарплата у тебя все равно одна и та же.

Ф: Вы вчера сказали, что три раза арестовали и благодаря этому Вы нашли себя. Напряженная политическая ситуация. Это было после конкретного выбора? Или просто так получилось?

А: Нет, это был эксперимент.

Ф: Но это не был какой-то такой момент, что я буду продолжать по этой линии.

А: Ну это была линия та же самая. Другое дело, что мне не нравилась цензура. Я решил обойтись без цензуры. Я решил попробовать можно ли обойтись без цензуры. За это я был арестован.

Ф: В одном смысле, совесть не играла никакой роли? Это было больше против авторитета?

А: Должен признаться, что совесть у меня играла очень большую роль только в отношениях с женщинами.

(смеются вдвоем)

А: Вот тут я старался считаться с совестью, чтобы их по-крайней мере не обманывать.

Ф: Это была большая проблема в этой сфере, чем в другой?

А: Нет, в другой сфере у меня этой проблемы не было.

Ф: Ну я это понимаю. Да, да.

А: *(смеется)* Нет, ну понимаете, дело вот в чем. Вот тут я должен похвастаться просто. Мне удалось, у себя в стране, быть одним из немногих свободных людей. Поэтому проблема совести, в этой ситуации, она уже не работает.

Ф: Но когда например читаете речь Натальи Горбаневской после демонстрации на Красной площади, речь Бориса Богаразова, они говорят, что это была нравственная демонстрация против системы.

А: Понимаете я с удовольствием употребляю эти слова, когда они не касаются меня. Не про себя.

Тут есть еще один вариант. Они говорят о нравственном сопротивлении, имея в виду что? Что они не хотели за это получить доступ к власти. Что это не было политическое сопротивление, они не рвались к власти. Сопротивление было чисто нравственным. И они абсолютно правы. И я тоже никогда в жизни не выставлю себя на какое-нибудь политическое место, в депутаты Государственной Думы. Это не мое.

Ф: Но Вы описали бы , наверное, несмотря на это, свои действия как нравственные или?..

А: Как не политические. Считается, что не политические, значит- нравственные. Но для меня это..

Ф: Интересно. И когда мы… если мы на момент…

<u>Вторая запись</u>

Ф: В начале поговорим чуть-чуть о диссидентском движение в общем. От того, что Вы сказали у меня сложилось впечатление, что у каждого человека был свой мотив.

Вы можете сказать, что диссидентское движение имело нравственные цели? Или это слишком широкое понятие, не такое простое?

А: Скажем так, на 80% я могу сказать, что (да). По тому, что я знаю. А я знаю примерно две тысячи человек, участников этого движения. На 80% это были люди, у которых были нравственные цели. При чем это были, с одной стороны, люди с самого социального низа, с другой стороны, это могли быть люди с самого социального верха. И я думаю, что действительно нравственные цели были движущими в этом движении. Хотя... Люди, которые больше всех известны в этом движении, начиная с академика Сахарова и кончая сегодняшним самым известным диссидентом Сергеем Ковалевым, по отношению к своим действиям, мне кажется, они гораздо ближе ко мне.

Ф: В этом смысле не использовали бы нравственные (ориентиры).

А: Нет, нет, нет. Их действия никогда не были безнравственные. Но , я не уверен, что им было...Нравственные - это значит, что человек в себе с чем-то борется.

Ф: Да, понятно, интересно.

А: А вот Сахарову не приходилось ни с чем в себе бороться. И Ковалев ни с чем в себе не борется.

Ф: У них, как и у вас, был естественный процесс.

А: Естественный процесс. И вот странно, что именно эти люди оказываются вдруг впереди.

Ф: У Солженицына была какая-то внутренняя борьба.

А: Какая?

Ф: В тюрьме он описывает, в ГУЛАГе.

А: Вы знаете, я Вам могу сказать, я тоже могу такие вещи попробовать описать. Потому что... То, что нам снится во сне или то, о чем мы думаем, когда мы остаёмся сами с собой в тюремной камере, это гораздо шире всей нашей жизни. Я думаю, что и у Солженицына тоже самое было. Потому что, когда Солженицыну в лагере предлагают стать доносчиком, а он отказывается. Вы знаете, он сначала отказывается, а потом приходит в барак и думает:" А может я дурак? Может мне надо было согласиться, а потом их обмануть?" И Солженицын писатель описывает Солженицына человека. Это получается очень интересно, но это не вполне точно. Потому что все, что реально делает Солженицын, это не показатель внутренней борьбы совести с отсутствием совести.

Ф: Но есть разница между человеком, я предполагаю, что имел такую борьбу, но каким-то образом преодолел, и человеком, который даже не думал...

А: Вот ситуация самая простая, с тем же Солженицыным, с тем же Пастернаком. Почему я сказал. Речь идет в первую очередь о первой реакции. Первая реакция - НЕТ. У Солженицына то же самое.

Ф: И у Вас то же самое.

А: И у меня то же, естественная реакция- нет, а потом я мог думать все, что угодно. Другое дело, что я не шел назад.

Ф: Да, ну понятно. Но были ли моменты, когда Вы колебались?

А: Наверное, только у меня не получалось. *(смеётся)* Я не знал, как мне пойти назад. Вот это очень сложно.

Ф: Нет, безусловно. Для всех из нас каждая ситуация сложна.

А: Другое дело, что это есть. Это есть на самом деле. И иногда, когда это не касается ситуации с государством, а касается ситуации между людьми. И когда твоя уверенность в твоей правоте не так уж велика, ты начинаешь искать компромисс. Но нам повезло, у нас государство было такое, с которым компромисс искать было не возможно. Понимаете? Оно было настолько неприличное, что просто нельзя было искать компромисс.

Ф: И Вы сидели три раза.

А: Три. Три и ещё чуть-чуть.

Ф: До или во время у Вас было чувство страха?

А: Нет.

Ф: Напряжённость может быть, но не страх?

А: Нет. По очень простой причине. Понимаете, каждый раз я садился по громкому делу. И представители советской власти относились ко мне с очень большой нелюбовью, но с уважением. И у меня в любом случае не было пути назад. Я не получил бы любовь, но я мог потерять уважение. И вот это бы я не мог себе позволить.

Ф: Это очень интересно. Еще раз об этом диссидентском движение. Про мотив. Вы вчера интересно рассказали чуть-чуть об этих двух книгах. Есенина-Вольпина и Альбрехта, указывая, что там нет ничего о сохранении совести, это вообще о человеческих правах.

А: Это о праве.

Ф: И, ну например, Сахаров, может быть, самый совестный человек, такие слова моральные и религиозные не близки к нему.

А: Абсолютно.

Ф: Но несмотря на это..

А: Но Сахаров никогда не был в ситуации, когда он где-нибудь мог повернуть обратно. Это особый случай, совершенно. И у меня тоже ситуация где- то близка к этой.

Ф: Но несмотря на этот факт, Вы думаете, что они при всяком случае по совести действовали? Или это как бы зависит от человека?

А: Я смотрю на эти вещи гораздо больше по человечески, чем теоретически. Я работал год, в 1976 году, я был секретарем Сахарова. И я видел отношения внутри этой семьи Сахаров- Боннар. И это были, на мой взгляд, идеальные человеческие отношения.

Ф: Сахаровы.

А: А что Сахаровым у нас было?

Ф: Человеческие отношения…

А: Понимаете, это были особые человеческие отношения, которые не допускали лжи ни в какой другой области. Если человек что-то говорил дома, это значит, что человек то же самое говорил и не улице, и в политике, и где угодно. Вот это…

Ф: Это замечательно.

А: Вот это и был тот самый особый случай.

Ф: Я хочу быть слишком теоретичным, но Вы можете объяснить это каким-то образом?

А: Нет. Я не знаю как это объяснять абсолютно. Есть люди, которым это свойственно. Единственное, что я еще могу сказать, что, на самом деле, так жить гораздо легче, чем по другому. Ты можешь очень много врать, то тебя в конце концов все равно поймают. А если ты не врешь, тебя точно не поймают.

Ф: Были ли в диссидентских кругах разговоры на тему “Ложь и правда”.

А: Конечно, конечно, конечно. Это всегда было. Это было потому что, вот что делать, когда тебя арестовали. Можно говорить правду, можно врать, и можно ничего не говорить.

Ф: И были разговоры и…

А: И это проблема, которая всегда обсуждалась. Вот меня больше всего устраивала последняя ситуация - вообще ничего не говорить. Говорить правду - это значит подводить других. Врать - это значит, ты же, в таком случае, работаешь против огромной системы, которая тебя все равно поймает. Значит остается только одно - ничего не говорить.

Ф: Ты пришел к этому заключению или в начале уже имел?

А: Мне повезло. Я первый раз сел в шестидесятом году (1960 г.). И у следователя еще не было такого опыта. И что-то такое, что позволило мне сделать такой вывод, мне сказал следователь. И я подумал, что вот это для меня самое лучшее и есть. (*смеется*)

Ф: Это интересно на этой теме. Потому что религиозные писатели, например Татьяна Горичева, она тоже описывает вот эту ситуацию. Но она тоже делает такое заключение. Она употребляет библейскую основу, что Христос ничего не сказал Дьяволу. Цитировал Библию, но не вступил в разговор.

А: Да. Да,да,да,да. Это было действительно самым легким выходом.

Ф: Вы говорили чуть-чуть о Вашем крещении. Вы были верующим?

А: Вы знаете, я…

Ф: Это был фактор?

А: Нет, ну что значит фактор? Во-первых, я очень любил и до сих пор люблю мою бабушку. Во-вторых, как-то для меня это было естественно. Потому что я думаю, что все решается, в нашей жизни, все решается вне нас. Это решается где-то наверху. И поэтому для меня это было нормально. И для меня вход в церковь был не нравственным решением, а чисто таким школьно-образовательным. Мне надо было для того, чтобы войти в православную церковь, Русскую Православную Церковь, мне надо было выучить церковнославянский язык, чтобы понимать службу. А других проблем у меня тоже не было. Потому что люди, среди которых я вырос, тот же Пастернак, и масса людей, та же Анна Андреевна Ахматова, они были людьми верующими.

Ф: Через вот все эти трудные ситуации, через тюрьму, через демонстрации?

А: Я не знаю. Это было…

Ф: Это было как бы естественный фактор?

А: Для того, чтобы сказать следователю “Нет”, мне не надо было обращаться к Богу.

Ф: Понятно. Да, да.

А: Это было из других, гораздо более низких, побуждений.

Ф: Низких

А: Когда ты обращаешься к Богу, это побуждения высокие. А когда ты говоришь “Нет, мне так будет легче” - это побуждения более низкие.

Ф: Так. То, что для внешнего зрителя показывается, как моральное действие, больше всего это естественное действие?

А: Да, да. Для меня так.

Ф: Это самая естественная форма жизни.

А: Я не знаю. Я верю, что для других это по-другому.

Ф: Наверное.

А: Я допускаю, что для кого-то это очень сложная проблема. Но для меня это не было сложной проблемой.

Ф: Я не хочу включаться в диссидентские споры, но я знаю. Я, например, сделал интервью с Жоресом Медведевым. И он рассказал свой путь и т.д. И потом в конце концов сказал так. “В заключении тема совести вообще не близка Вам?” И он сказал: “Да”. И он описывал как, когда он сидел в комитетах, что самый важный фактор не был, чтобы “я был голосом правды или неправды”, а будет ли это эффективный момент или не эффективный момент?

А: Но дело в том, что Жорес политик.

Ф: Да, но может быть это действительно так, что для него и для других тема совести не ключевая. Или это он просто так говорит.

А: Понимаете, дело в том, что вот очень странно, мы с ним очень разные люди. Я с ним хорошо знаком. Мы с ним иногда видимся в Москве. Но почему-то получается, что и для меня это тоже не самое главное.

Ф: Да, да.

А: Вот так получается. И я ничего с этим сделать не могу.

Ф: Тема “ Не жить во лжи”, эта фраза Солженицына. Наверное, это не была новая фраза для Вас. Это влияло на Вас?

А: Я довольно давно знаком с Солженицыным. И поэтому я это слышал задолго до того. И более того, я даже как раз был тем, кто пустил “жить не по лжи” в широкий

оборот. Я это знал давно. И поэтом. Это на самом деле очень непростая тема. Очень непростая тема. Очень непростая тема, потому что иногда молчать не совпадает с “жить не по лжи”. Это очень хорошо, но сложно. Я думаю, что если это удается- это хорошо. А если не удается, так что делать.

Ф: У меня впечатление от того, что Вы сказали. Вы не совсем уверены, или Вы не думаете, что я задаю вопрос вообще, общий вопрос, правило? Вы так думаете?

А: Почему? Нет.

Ф: Это можно?

А: Это можно все. Дело в том, что я же не первый год на свете. Я слышал очень много такого рода вопросов. Вы в этой ситуации далеко не худший спрашивающий. Поэтому это нормально.

Ф: Это указывает что-то о диссидентском движении?

А: Если мы эту тему несколько сузим. Вот так, как говорится, о нравственном сопротивлении, в противовес к сопротивлению политическому. Это будет сто процентов правильно. Абсолютно правильно. Если же мы будем брать совесть, в ее философском понятии. То она окажется не обязательным критерием сопротивления. Вот скажем в моем случае, или, я думаю, в случае Сахарова или Ковалева, это абсолютно не обязательно.

Ф: Да, понятно. Это помогает в разных случаях, но не во всех.

А: Да, да. Но в очень многих, очень многих.

Ф: Я, может быть, Лейф рассказал Вам о Ко, вот этот съезд.

А: Я был один раз в Ко. И я был на нескольких съездах “Морального переложения”. Я знаю, я очень люблю эту организацию.

Ф: Я был ..

А: Я просто думаю, что как только я кончу свою активную журналистскую деятельность, то я постараюсь пристроиться где-нибудь поближе к Ко и сделать все, что я там могу. Вот там как раз вот, эти принципы- это мои принципы. Другое дело, что я не всегда могу им соответствовать.

Ф: Но я в Ко...Был Лейб, я помог ему. Был съезд по теме “Нравственные уроки советской истории” о сопротивлении злу. Может быть он рассказал.

А: Нет, нет не слышал.

Ф: И там один из ораторов был Лен Карпинский. И Лен Карпинский рассказал, как влияла на него фраза Солженицына “Не жить во лжи”. И за двадцать лет это начал все глубже и глубже. До того момента, когда он второй раз вступил в партию после XIX съезда. И он понял тот момент, что он это сделал за карьеру, не по совести. Так он

описывал, что вот эта вот фраза и общая нравственная система, как влияла на него в длинном процессе.

А: А Лен был очень симпатичный человек. Независимо от вот этих, я не очень верю в эти его влияния. Но он был очень человек симпатичный.

Ф: К тому же я читал речь Яковлева Александра на Ватикане в 92 году (1992г.). Когда он говорил, что перестройка- это революция совести.

А: Он сейчас говорит гораздо лучше.

Ф: Он говорит даже, что мотив этой революции- это был стыд за прошлое.

А: Я не понимаю, у меня например нет стыда за прошлое.

Ф: Но он был коммунист.

А: Он был не просто коммунист, он был коммунистический лидер.

Ф: Я имел в виду, влияли ли на них по-настоящему такие фразы на таких людей? Или они просто оправдывают себя после таких людей?

А: Надо сказать, что в случае с Яковлевым… Ну Лен Карпинсикй всегда был хороший человек. Яковлев - не всегда. Но то, что сейчас делает Яковлев мне очень нравится. Хотя у меня с ним сложные отношения. То есть мы хорошо знакомы, мы хорошо встречаемся, мы вместе, время от времения, вместе пьем водку. Но это все-таки. Вот он очень хочет, чтобы за то, что он делает и за то, как он меняется, его хвалили. Ну вот мне это, например, просто не нужно, чтобы меня хвалили, а ему нужно. И когда, скажем, Владимир Буковски напоминает ему о его дурных делах, он очень обижается. А когда, Владимир Буковски напоминает, а мы печатаем, в результате он обижается и на меня. Хотя у меня с ним хорошие отношения.

Ф: Дело в том, что то, что мне очень интересно в более глубоком плане. Было ли нравственное влияние диссидентского движения на реформистскую часть коммунистической партии?

А: Было, но не так прямо. Потому что было влияние диссидентского движения на население, и влияние населения на реформистскую часть коммунистической партии.

Ф: Наверное, когда Вы говорите про население, Вы имеете в виду общую интеллигенцию. Больше всего.

А: Нет, не только. Почему только интеллигенция? Почему интеллигенция? Рабочии в данном случае ни чуть не меньше. Потому что, когда приезжает к рабочим Яковлев, а они ему свистят. Не по-американски приветствуют *(смеется)*, а по-русски свистят. Ему это не нравится.

Ф: Причина моего вопроса, что западные ученые часто говорят, что диссидентское движение не очень важно было в перестройке.

А: В перестройке может быть и нет. Я не знаю.

Ф: Я хотел бы узнать..

А: Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Но во всяком случае я знаю, по себе, просто по себе, что у меня сегодня, когда я приезжаю в Москву, абсолютно открытые двери.

Ф: Везде?

А: Везде. Меня пускают в Белый Дом, в Кремль, куда угодно.

Ф: Это замечательно.

А: Нет проблем. Понимаете, другое дело то, что никогда не был…

Ф: Это авторитет..

А: И это очень существенно. Гораздо больший авторитет у Ковалева. Но я видел просто, я с ним ездил там и прочее. Я видел как относятся к нему. Это очень, очень, очень важно. Есть несколько десятков бывших диссидентов, которые попали в школьные учебники русской истории.

Ф: Так. Да. Уже!

А: Уже. Уже последние три года. Там есть и Сахаров, и Солженицын, и Ковалев, и Яковлев, и я там есть. В общем человек сорок. Это показатель. Не только в учебники истории, но даже в детскую энциклопедию.

Ф: Это исключительно важно.

А: Да. При этом это как раз отличие России от других республик бывшего Советского Союза. И даже от бывших стран Варшавского пакта. Скажем, в Чехии в учебники истории попал один человек из диссидентов. Гавел. Все.

Ф: Были ли бурные проблемы совести? Вы говорили о том, как реагировать, когда Вас арестовали. Были ли в диссидентских кругах другие бурные проблемы совести, которые, может быть, невольно обсуждали довольно много.

А: Дело в том, что поведение, когда ты арестован, это пожалуй самая главная проверка диссидента. Это значит был ты честен, когда ты это начинал или не был. Более бурного и не придумаешь.

Ф: Так это была самая основная проверка.

А: Да, это было самое основное.

У меня никогда не было пыток. И я не знаю, как бы я себя проявил, если бы были пытки. Я не знаю этого. Но вот без пыток я вышел из этой ситуации.

Ф: Для разных были ли проблемы работать каким-то образом с системой?

А: Были. И у меня есть такие друзья.

У меня есть крестник. У меня есть мой крестник, который в свое время устраивал демонстрацию на Пушкинской площади в мою защиту. Но не только в мою. Его за это выгнали из университета. Потом он вернулся в университет. Потом он стал профессором, юристом. Потом он стал министром. Потом он сейчас посол. И мы с ним остались друзьями. Он автор нескольких очень хороших законов, российских. Это все возможно. Важно только одно, не надо говорить, что ты не тот, кто ты есть. Вот мне так кажется.

Ф: Честным с собой.

А: Да.

Ф: Если Вы хотите добавить что-то мне в написание книги и что нужно упоминать?

А: Покажите в начале, что Вы напишете, потом я добавлю. *(смеется)* Что тут можна сказать.

Ф: Но я думаю, что это все. *(смеется)*

А: Ну слава Богу.

Ф: Спасибо

English summary

This is a condensed summary of the main points of the interview, in the first person, not an exact translation.

Does not like the word 'dissident'. Malva Landa and Petro Grigorenko saw the opportunity presented by the Moscow Helsinki Group to speak the truth. That's why I entered the group -- because I did not see any other opportunities to speak the truth. The Moscow Helsinki Group was the most focussed of groups. Most of the other groups were not really groups but friendly initiatives. And as a rule they did not let each other down. There were very few occasions when people broke.

Before the appearance of the movement, it was hard to imagine how people would behave under investigation. Solzhenitsyn, and the Moscow Helsinki Group, did give a formulation of this. Before that there were the brochures by Volpin and Albrecht. Their approach was not from the point of view of conscience, but of law. The moral element was as it were the next step, the question of creating a new moral order in society was a next step on from that.

I think when I was arrested, I behaved in the right way. I was arrested in 1960, 1965 and 1977. I did not betray anyone. In a country of 200 million people, there were a few hundred dissidents – they were only a few. It was a circle with an inner sense of conscience. Bukovsky: he never made any attempt at compromise at all. But it depended on which family, on which milieu you grew up in, that values that were in that milieu. After that there was really no choice in the matter. You found yourself behaving like Bukovsky, whether you liked it or not.

I grew up during the war and immediately after. I had a mother who worked for a minimum of twelve hours a day, and I saw her very little – not far from the Tetryakov Gallery and the House on the Embankment. In the same class as me was the son of Mikoian and the son of Pasternak and the son of Misha Ardov, now an Orthodox priest. I saw Pasternak a few times. I had a wonderful grandmother who returned from exile and baptised me when I was 13 years old.

In regard to the Helsinki Group, Landa and Grigorenko thought about conscience. We were 11 people, 9 of whom were not thinking about the issue of conscience. I was an actor and director in a theatre in Novosibirsk before becoming a journalist. To some extent everything I wrote was on the issue of conscience. I always wanted to be honest in my writing. I always tried not to lie.

Pasternak's first reaction was deeply moral, connected to the issue of conscience. I only saw how he reacted immediately. At the age of 12 I started to read him. When I was 16, when I read his prose, I understood that this man meant a lot to me.

My father was a very interesting Russian architect He had studied with Corbusier. After studying he built modernistic houses in Moscow. The House of the Ministry of Agriculture, for example. When the Soviet government decided to destroy the Church of Christ the Saviour, he made an exact copy of the church so that it would be possible to reconstruct it. When he finished studying with Corbusier, they returned to Msocow and he started to produce a journal of modern architecture. At the end of 1936, the whole editorial board of

the journal was arrested. I was born two months later. And two months after I was born, he was killed by the KGB in the Lubyanka, before his trial under torture. It was in the beginning of 1937. I never saw my father and we had just two photographs.

I was brought up by my mother. She was from the Moscow intelligentsia, a Jewish family. My father's mother was from a noble background. Her other elder son was exiled to Kazakhstan, and she went to join him returning in 1949.

In our house it was possible to listen to Western radio. So I knew about many situations. I was in my early teens. So it was normal in the house. No one close to me was ever a communist. I got to know about the death of my father much later, when he was rehabilitated, my mother and grandmother concealed it from me.

I left Novosibirsk at the end of 1952 and later went into the Faculty of Journalism. I never had any Soviet views. That is my happiness. In our house there was always that feeling that people did not accept the Soviet system. The Khruschev speech did not affect me, because I alrady knew much more by that time. For that reason, I was rathe ironic abot him.

I ended up working for a paper that liked my articles I had no need to become a member of the Party. My arrests were really the result of an experiment. I did not like the censor. I simply tried to see how far I could go.

I must confess that conscience only played a really big role in relation to women. It was in that sphere that I tried to take conscience into account. At least not to deceive.

The dissidents speak about moral resistance, having in mind that they did not want to have access to power. In 1968, they meant that it was not a form of political resistance, and they were absolutely right. I would describe my work as essentially non-political rather than moral. I knew about 2000 people who participated in the dissident movement. 80% of the people had moral objectives. I do think that the movement was motivated by moral aims. Although people who were famous in the movement like Sakharov and Kovalev were motivated morally. A moral person is someone fighting something inside himself. But Sakharov did not have to fight anything inside himself, nor Kovalev. For them it as a natural process. It is strange that these people were at its head.

I can see something of Solzhenitsyn's inner struggle in myself. Solzhenitsyn the writer describes Solzhenitsyn the man. And that is interesting. As with Pasternak, so with Solzhenitsyn, the first issue is the first reaction. There were moments when I hesitated, but they did not win through. I did not know how to go back. Sometimes when you are not certain of your own rightness you search for compromises. The state was of such a kind that it was impossible to search for compromise. It was so indecent that it was impossible to search for a compromise. I was in jail three time and then a bit more.

I was not afraid or tense. Sakharov was never in a situation when he could go back, and my case was like that. I look at these things from a human rather than a theoretical perspective. I worked for most of 1976 as Sakharov's secretary. And I saw relations within this family – Sakharov-Bonner. From my point of view they were ideal human relations. It wa assumed that if a person said one thing at home, he did the same thing outside the home.

There is one thing I could say: it is much easier to live like that than in another way. You can lie a great deal, but in the end you will be found out. If you don't lie, you won't be caught. There were conversations about what to do if you were arrested. It was a problem which was always being discussed. My approach was to say nothing. To tell the truth means to let others down. To lie means to work against this huge system which will in the end get you. So you are left with the option not to say anything. The easiest method is not to enter into a conversation.

I always loved my grandmother. It was somehow natural to believe. I think everything in our lives is decided somewhere up there. For me the path to the church was not a moral decision, but a matter of education. I needed to enter the Orthodox Church. I did not need to turn to God in order to say no to the investigator. Someone the issue of conscience is not for me the overriding one.

'Live not by the Lie' - I had known the idea behind that for a long time before. It was the one who put the idea out into the wider sphere. It is not a simple theme. Sometimes to be silent does not mean to live not by the lie. It is very good, but complex. The principles of Moral Re-Armament are my principles, but that does not mean that I can always live by them.

Karpinsky was a sympathetic man, but I don't quite believe him when he tells this story about the influence of Solzhenitsyn's phrase. Yakovlev was not always a good person, but I like what he is doing now. But he very much wants to be praised for what he is doing.

There was a moral dissident influence on the population, and the feformist wing of the Party. Not just the intelligentsia. The dissidents also influenced the working class. Whether we influenced perestroika, I do not know. But in Moscow now the doors are wide open to the dissidents. That is significant. How people relate to Kovalev is significant.

Behaviour after arrest is the most important mark of a dissident. Great question was whether you were honest at the beginning. I was not tortured – I don't know how I would have behaved. Only one thing is important – that you do not say that you are what you are not.